

РЕЦЕНЗИИ

Гаспаров Борис. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.: "Новое литературное обозрение", 1996. 352 с.

Автор книги, Б.М. Гаспаров, в 60–70-е гг., работая в Тарту, обратил на себя внимание публикациями по лингвистике текста. Затем он покинул СССР, а в последние годы вновь начал публиковаться в отечественных изданиях, преимущественно как литературовед. Рецензируемая книга вновь посвящена лингвистике, в ней рассматриваются самые широкие проблемы языковой теории. Автор критически относится к большинству лингвистических направлений XX в. и пытается предложить принципиально новый подход к изучению языка.

Название книги может ассоциироваться у читателя с влиятельной в Японии школой «языкового существования» (гэнго-сэйкацу), уже получившей у нас некоторую известность [Неверов 1982; Алпатов 1983]. Однако Б.М. Гаспаров нигде не упоминает эту школу и, вероятно, не имеет о ней представления. Тем не менее любопытны как перекличка терминов, так и другие черты сходства между школой гэнго-сэйкацу и Б.М. Гаспаровым: антиструктурализм, отказ от ограничения объекта исследования языком в сосюрловском смысле, огромное значение, придаваемое интроспекции.

Но, разумеется, Б.М. Гаспаров, отвергая идеи структурализма и генеративизма, ориентируется не на японскую, а на европейскую и русскую традицию, в конечном итоге восходящую к В. фон Гумбольдту. Упомянуты в связи с этим К. Фосслер, И.А. Бодуэн де Куртенэ и даже Н.Я. Марр. Несомненно значительное влияние на автора книги оказал известный труд В.Н. Волошинова — М.М. Бахтина "Марксизм и философия языка" (Л.: 1929), важны для него и идеи более поздних работ М.М. Бахтина. Опирается Б.М. Гаспаров и на некоторые отечественные исследования последнего времени, в частности, Ю.Н. Караулова. И особенно для него значимы, хотя принимаются и не полностью, идеи современного, прежде всего французского постмодернист-

кого литературоведения (Р. Барт, Ж. Деррида, Ю. Кристева и др.).

Книга проникнута пафосом отвержения традиций позитивистской лингвистики и позитивизма в целом. При этом позитивизм Б.М. Гаспаров, как и авторы книги "Марксизм и философия языка", понимает максимально широко. К нему отнесены не только классический позитивизм XIX в., проявившийся в младограмматизме (хотя на с. 21 идеи младограмматиков названы "кульминацией позитивистского подхода к языку"), но и все направления структурализма и даже генеративизм Н. Хомского 50–60-х гг. (другие направления генеративизма не упомянуты). Автор книги подчеркивает "выпадение" лингвистики из общего развития гуманитарных наук в XX в. Если в других науках "кардинальным образом изменяется каждый раз вся картина предмета, самые фундаментальные категории и представления, казавшиеся до этого неизменными", то «лингвистика все это время продолжала и продолжает идти по дороге, проложенной рационализмом и детерминизмом Просвещения. В том, как она определяла и сегодня еще определяет свой предмет и цели и способы его описания, явственно проглядывает духовное наследие эпохи, предшествовавшей Французской революции: все та же вера в универсальность принципов разумной и целесообразной организации, действительных для любого феномена, все то же иерархическое отношение между идеальным "внутренним" порядком и его "внешней", несовершенной реализацией, все та же устремленность к всеобщему и постоянному, для которого все индивидуальное и преходящее служит лишь первичным сырым материалом концептуализирующей работы, наконец, все тот же детерминизм в выстраивании алгоритмических правил" (с. 6–7).

Такой подход связывается Б.М. Гаспаровым с представлением о языке как слож-

ном и рационально построенном механизме, «каким-то неизвестным, но вполне единообразным способом помещающегося в сознании каждого "носителя" данного языка» (с. 7); последнее не вполне точно: многие направления, особенно последовательно глоссематика, отказывались от рассмотрения вопроса о хранении языка в сознании человека. Но не это главное: Б.М. Гаспаров вполне правомерно сопоставляет развитие лингвистического структурализма с общими тенденциями науки и культуры начала XX в., когда «одномерная эмпирическая реальность позитивизма, состоящая из твердых "фактов", которые предстоит лишь собрать и расставить по надлежащим местам, уступила место релятивному миру идеальных сущностей, образ которого на глазах создается и пересоздается концептуализирующей мыслью» (с. 24). Однако «ученый-антипозитивист и ученый-позитивист сходились в том, что им обоим не нужно было "искать" свой предмет: он оказывался задан с полной отчетливостью и очевидностью, для первого — эксплицитно сформулированными исходными параметрами конструируемой модели, для второго — непосредственным наблюдением» (с. 25). Сходные идеи видятся в книге и у Н. Хомского, для которого «интуитивное знание говорящего представляет собой совершенную, идеально работающую структуру» (с. 65).

Такой подход неприемлем для Б.М. Гаспарова, ссылающегося на непосредственный «здоровый смысл» носителя языка: «Стоит лишь отвлечься от готового представления о том, что "должен" из себя представлять язык, и обратиться к тем непосредственным ощущениям, которые у каждого из нас имеются в связи с нашим каждодневным обращением с языком, как обнаруживаются существенные расхождения между картиной языка как механизма и многими самыми простыми и очевидными вещами, которые можно ежеминутно наблюдать в нашей языковой деятельности и которые, я думаю, каждому приходилось наблюдать и испытывать в своем личном языковом опыте» (с. 9). «Наши взаимоотношения с языком» — «экзистенциальный процесс, столь же всеобъемлющий, но и столь же лишенный какой-либо твердой формы и единого направления, как сама повседневная жизнь» (с. 9).

Вслед за В.Н. Волошиновым — М.М. Бахтиным автор книги подчеркивает, что любые «стабильные лингвистические объекты», включая целые высказывания — лишь фикции. «Попадая из языковой среды автора в языковую среду каждого нового адресата,

созданное высказывание всякий раз меняет условия своего существования» (с. 10). Всегда имеют место коммуникативное намерение автора, его отношение к тому или иному адресату, идеология эпохи и конкретных личностей, множество ассоциаций с предыдущим опытом и т.д. «Язык окружает наше бытие как сплошная среда, вне которой и без участия которой ничто не может произойти в нашей жизни. Однако эта среда не существует вне нас как объективированная данность; она находится в нас самих, в нашем сознании, в нашей памяти, изменяя свои очертания с каждым движением мысли, каждым проявлением нашей личности» (с. 5). Взаимодействие личности с такой средой (одновременно являющейся и объектом, с которым эта личность работает) Б.М. Гаспаров и предлагает называть языковым существованием личности. Изучение языкового существования рассматривается в книге как главная задача науки о языке.

Встает закономерный вопрос: почему эта наука постоянно идет о иному пути? Б.М. Гаспаров справедливо упоминает о том, что позитивистский подход не только господствует в лингвистике двух последних веков, но и опирается на «громадную традицию... идущую от латинских грамматик поздней античности и века схоластики» (с. 22); добавим, что похожий взгляд на язык можно видеть и во всех иных, отличных от европейской, лингвистических традициях. К задаче, стоящей перед Б.М. Гаспаровым, действительно ближе гумбольдтовские идеи, но он сам вполне верно отмечает внешне парадоксальную ситуацию: «Несмотря на то, что идеи Гумбольдта сохраняли высокую авторитетность на протяжении как большей части XIX, так и XX века, в конкретных описаниях истории и структуры различных языков они фактически не отразились» (с. 21).

В самом деле, освоение гумбольдтовских идей, которыми восхищались многие, шло исключительно в области философии языка и наиболее абстрактных теорий, где этому был не чужд и Ф. де Соссюр, например, по вопросу о форме и субстанции (материи). Но приспособление их к конкретному анализу требовало как минимум значительного сужения и, если угодно, рационализации. Показателен пример упомянутого Б.М. Гаспаровым понятия внутренней формы, прочно вошедшего в русскую традицию благодаря А.А. Потебне. Во-первых, глобальное понятие В. фон Гумбольдта сузилось до понятия внутренней формы слова, относящегося лишь к лексическому уровню. Во-вторых,

среди всех ассоциаций, которые вызывает то или иное слово, отбираются лишь те, которые можно рационально объяснить: связанные с реальной историей слова, которую можно обнаружить или реконструировать. Для слова *стрелять* допустимо связать его внутреннюю форму со словом *стрела* и даже для фамилии *Грибоедов* — со словами *гриб* и *есть*. Но, например, для носителя русского языка английская фамилия *Конгрия* легко ассоциируется с *конь* и *грива*, а топоним *Уч-курган* с фантастической ситуацией обучения кургана; однако для «серьезной» лингвистики — это лишь «текучие» ассоциации, интересные разве что как «народные этимологии», непригодные для строгого исследования. В то же время Б.М. Гаспаров в разделах книги, посвященных анализу языкового материала, принципиально рассматривает любые такого рода ассоциации (правда, не столько для компонентов слова, сколько для целых слов и словосочетаний) без каких-либо объективных критериев отбора.

Итак, с чем же связан, согласно Б.М. Гаспарову, господствующий в лингвистике и практически единственный при изучении конкретных языков подход? И здесь он идет за авторами «Марксизма и философии языка», связывавшими критикуемый им «абстрактный объективизм» с задачами обучения языку. Б.М. Гаспаров пишет: «Стереотипы «высокой» лингвистической науки выступают рука об руку со стереотипами языкового учебника... Мы все знаем, что предлагаемые учебником правила помогают в изучении языка, и что чем больше в этих правилах логической последовательности, единообразия и компактности, тем лучше выполняются они свос полезности назначения» (с. 8). В связи с этим Б.М. Гаспаров приводит такую аргументацию, разграничивая то, чем занимаются существующая лингвистика и лингвистика, которую нужно строить в соответствии с его проектами: «Все мы знаем, как действует человек, обучающийся какому-то новому для него делу: танцу, или шахматной игре, или языку. Рационально организованные знания о предмете, сообщаемые ученику и им усваиваемые, не только ускоряют обучение, но выступают в качестве главной — во всяком случае, наиболее заметной — движущей его силы. Наблюдая, как новичок складывает, элемент за элементом, свои первые танцевальные, или шахматные, или языковые «фразы», используя только что полученные сведения об их строении, мы видим полное торжество принципа «грамматики»... Чем дальше продвигается ученик в усвоении

своего дела, тем реже он нарушает предопределенные ему правила... Но вместе с этим — тем труднее оказывается разглядеть в его действиях эффект «применения» кодифицированных правил. Отдельные элементы сливаются в нерасчленимые блоки; действия развертываются не по единообразной схеме, применяемой буквально, безотносительно к обстоятельствам, а скорее прямо противоположным образом — исходя из все время меняющихся ситуаций» (с. 45). Тем самым «позитивистская» лингвистика — не чистое заблуждение, а моделирование деятельности человека, только начинающего пользоваться чужим для него языком, практически полезное для этого человека. Однако понять на ее основе, как пользуется языком личность, свободно им владеющая, невозможно.

Безусловно, человек сознательно пользуется грамматическими правилами лишь на очень ранних стадиях освоения чужого языка (и то только если учит его в школьном или взрослом возрасте), а увидеть со стороны использование этих правил также можно лишь в этом случае. Здесь Б.М. Гаспаров прав. Человек, хорошо владеющий языком, не думает ни о каких правилах, в лучшем случае он может рассуждать о них в процессе рефлексии, о которой немало сказано в книге. Но можно ли считать, что эти правила в реальном «языковом существовании» (исключая ситуацию очень плохо владеющего языком) вообще не имеют места или же в лучшем случае играют роль «продукта рефлексии», помогающего говорящему включать в ассоциативное поле формально сходные «частицы языковой памяти» (с. 214)?

Остается не вполне понятным, почему Б.М. Гаспаров, придающий большое значение психолингвистике, резко против исследований языковых функций мозга, в том числе исследований афазий. В них он видит лишь «материалистический буквализм» позитивистской лингвистики, стремящийся «отыскать объективные психологические и нейрофизиологические параметры» (с. 7). Однако нам представляется, что те же исследования афазий начиная от уже классических работ А.Р. Лурии [Лурия 1947] и кончая появившимися недавно опытами Д.Л. Спивака по искусственной дозированной афазии с помощью инсулинотерапии [Спивак 1986] дают очень многое для понимания того, как функционирует язык человека.

Неосознанность грамматических и других правил и невозможность их прямого вычленения из речи известны давно. Но при

афазиях (и более сложным образом при изучении детской речи) можно видеть разделение речевой деятельности на части; точнее, при афазии некоторые ее компоненты уже не функционируют (а в детской речи еще не функционируют). В частности, при так называемом "телеграфном стиле", выделенном А.Р. Лурией, словарный запас сохраняется в полной мере, но правила конструирования предложений, а также возможность словоизменения ввиду повреждения соответствующего участка мозга нарушаются; бывают и афазии обратного типа. Уже это дает основание говорить об объективности как синтаксических, так и морфологических правил, моделируемых лингвистикой с весьма давнего времени. Их существование никак не исключает всей совокупности сложных факторов, о которых пишет Б.М. Гаспаров.

Существование этих факторов вовсе не отрицалось "позитивистской" лингвистикой. Весьма широкое и неопределенное понятие речи у Ф. де Соссюра вполне покрывает если не все "языковое существование личности", то по крайней мере очень многое из него. Не отрицал важность изучения соответствующей проблематики даже такой крайний структуралист, как З. Хоррис. Дело было не в этом. Важно было, как признает и Б.М. Гаспаров, "обнаружить и выделить в языке — как и во всяких проявлениях жизненного опыта — общее, определенным образом организованное, повторяющееся и устойчивое" (с. 17). Это особенно было нужно для практических целей, в том числе для учебных, безусловно, игравших важную роль для становления любой традиции. И начиная с создания алфавитов "стихийными фonoлогами" древности и конструирования первых парадигм склонения и спряжения люди старались выделить из "текущего языкового опыта" нечто стабильное и упорядоченное. Структурная лингвистика начиная с Ф. де Соссюра лишь эксплицировала это выделение.

Четкое сосредоточение на наиболее легко поддающихся решению и в то же время весьма серьезных проблемах не означает того, что не было стремления выйти за их пределы. Безусловно, важны идеи В. фон Гумбольдта, пусть настолько общие, что не поддавались конкретизации; для XIX в., вероятно, ни о чем другом говорить было и нельзя. Верно Б.М. Гаспаров обращает внимание и на идеи "о неповторимости языкового мира каждой личности" у И.А. Бодуэна де Куртенэ (с. 19, 30). Автор книги при этом подчеркивает, что парадоксальным образом, "структуральная

лингвистика увидела именно в Бодуэне своего ближайшего предшественника" (с. 19). Однако, во-первых, парадокса здесь нет: у Бодуэна сочетались психологизм и "индивидуализм" со стремлением строго эксплицировать лингвистические процедуры; именно последнее наряду с отказом от обязательного историзма и восприняли структуралисты. Во-вторых, и общетеоретические идеи этого ученого нашли продолжение у некоторых структуралистов: не только у прямого ученика Бодуэна — Е.Д. Поливанова, но и у совсем не связанного с бодуэновской традицией Э. Сепира.

Безусловно, стремление как-то выйти за пределы языка в соссюрском смысле существовало и у последователей Ф. де Соссюра. Б.М. Гаспаров вспоминает теорию актуализации Ш. Балли; можно упомянуть и идеи К. Бюлера об отношении знака к говорящему и слушающему. Но следующий важный шаг сделал Н. Хомский (Б.М. Гаспаров отмечает некоторые недостатки его подхода вроде произвольного обращения с концепциями предшественников, но проходит мимо его отличий от структурного подхода). Он ввел в лингвистику понятия говорящего человека и интуиции. Однако и ему надо было ввести ограничения, позволяющие установить четкие рамки исследования. Отсюда понятия компетенции и идеального говорящего, которые все же (правда, больше в теории, чем в конкретном обращении с материалом) были не столь жесткими, как границы языка в соссюрском смысле. Исследования последних двух-трех десятилетий, особенно в области семантики и языковых картин мира, безусловно, еще больше продвинули науку языка в сторону все большего охвата сложнейших явлений, о которых пишет Б.М. Гаспаров; смотри, например, работы А. Вежбицкой и близких к ней по идеям лингвистов. Надо отметить, что как раз лингвистика последнего времени учитывается в рассматриваемой книге явно неполно; в отличие от литературоведческих работ последних примерно 20–25 лет лингвистические упоминаются в небольшом числе и не всегда представлен отбор.

Но, разумеется, вся совокупность языковой и речевой реальности, о которой пишет Б.М. Гаспаров, в значительной части пока не поддается изучению. Как исследовать "текущую среду"? Позиция автора книги далека от крайностей постмодернистской науки, отказывающейся вообще от каких-либо объективных критериев. Он, в частности, против представления о «ничем не ограниченной субъективности каждого акта

языковой интерпретации и, как следствие этого, о возможности неограниченного числа возможных "прочтений" одного и того же текста и неограниченной степени несходства между отдельными такими прочтениями» (с. 293). Приводится любопытное наблюдение: постмодернистский анализ широко применяется при анализе художественных текстов, но избегает обыденной речи, где однозначность интерпретации слишком очевидна, чтобы можно было прибегать к "деконструкциям". Вывод: "Категорическое отрицание интегрированности и упорядоченности предмета исследования ведет не к освобождению от детерминизма, но — по известному принципу схождения крайностей — к новой негибкости и своего рода негативному детерминизму" (с. 35).

Итак, и в "текущем" "континууме" надо искать закономерности. Однако главный пафос Б.М. Гаспарова обращен против другой крайности, которую он видит у большинства лингвистов от александрийцев до Хомского. Подчеркивается, что представление языка "в виде рационально построенного концептуального объекта" не только "реально невыполнимо", но и не представляет собой "идеальную цель, к которой должны устремляться усилия исследователя" (с. 11). Процессы языковой деятельности "не имеют твердых, раз навсегда установленных правил" (с. 14). Идея о принципиальной нечеткости, неструктурированности объекта лингвистики и о необходимости отражать это в исследовании постоянны в книге.

Тем самым задача автора осознанно противоречива: надо искать закономерности в принципиально нерегулярном и не поддающемся строгим правилам мире ассоциаций и цитаций. И Б.М. Гаспаров, в чем надо отдать ему должное, старается не ограничиться теоретическими декларациями, а дать примеры обращения с конкретным материалом на основе предложенных принципов. Этому посвящена большая часть книги.

Ограниченный объем рецензии не дает возможности сколько-нибудь полно и детально рассмотреть эти примеры. Отметим лишь, что автор, исходя из своего общего подхода, постоянно балансирует между Сциллой полного субъективизма и Харибдой установления нежелательных для него четких правил. Где-то он ближе к одной крайности, где-то к другой. С одной стороны, большое место в книге занимает интроспекция, прежде всего описание ассоциаций, возникающих в авторском сознании по тому или иному поводу. Например,

перечисляются приходящие автору на память высказывания, включающие словформу *рук* (с. 87–88), описаны ассоциации, связанные со словом *трава* (с. 247–249), и последней главе книги подробно рассмотрены литературные и культурные ассоциации, приходящие автору на память в связи с теми или иными текстами. Все это само по себе любопытно, интересно для психолингвистики, но оценивать построения такого рода трудно и не очень продуктивно: Б.М. Гаспаров указывает, что это лишь его собственные представления, которые у носителя русского языка могут быть и совсем иными. Верность реальности явно не играет здесь решающей роли: ассоциации могут быть построены на реальном опыте, на достоверной информации, но также и на ложных сообщениях или на ошибках памяти. Например, анализ ассоциаций, связанных у Б.М. Гаспарова с телепередачей, на с. 332–333 основан во многом на информации о том, что марш "Прощание славянки" "ведет свое происхождение от русско-турецкой войны 1878 года", фактически неверной: марш появился позже, в начале XX в.

С другой стороны, нередко автор вынужден приходить к тем же способам анализа, которые он отвергает. Например, его отрицание идеи семантического инварианта грамматических категорий производится на примере семантических различий между полными и краткими прилагательными в современном русском языке. Можно согласиться с Б.М. Гаспаровым в отношении того, что эта проблема плохо поддается решению в русистике, что существующие у В.В. Виноградова, А.В. Исаченко и др. попытки дать то или иное правило подтверждаются одним множеством примеров и опровергаются другим (разным для каждого из правил). И тут же Б.М. Гаспаров фактически дает иное, но однотипное общее правило: при употреблении полной формы "признак как бы растворяется в предмете как его неотъемлемая часть", в случае же краткой формы "мы активно приписываем данный признак данному предмету" (с. 227). Из этого инварианта выводятся частные случаи употребления той или иной формы. Не обусуждая сейчас удачности или неудачности конкретного описания, отметим, что Б.М. Гаспаров оказывается вынужден давать семантическое правило аналогичное тем, что он бракует в принципе.

Наконец, рассмотрим попытку Б.М. Гаспарова выделить некоторый элементарный "кирпич" языка — "коммуникативный фрагмент" (КФ). Это "отрезки речи различной длины, которые хранятся в памяти

говорящего в качестве стационарных частиц его языкового опыта и которыми он оперирует при создании и интерпретации высказываний" (с. 118). То есть это то, что в отечественной традиции называется "воспроизводимой единицей" в отличие от "производимой единицы". Новое здесь прежде всего в понимании границ этой единицы. Обычно воспроизводимая единица понимается как прежде всего слово, хотя возможны и воспроизводимые словосочетания (прежде всего фразеологизмы), и производимые слова. Но для Б.М. Гаспарова "чаще всего КФ представляет собой сочетание 2-4 словоформ" (с. 119), совпадение КФ и словоформ возможно, но это скорее исключение, чем правило. Автор исходит здесь из того, что наша речь в большей степени цитационна, чем это обычно представляется: КФ – это по сути цитаты, хотя в большинстве случаев их источник неизвестен. Что же касается словоформы, то объективность существования самой этой единицы, согласно Б.М. Гаспарову, сомнительна (если только она случайно не совпадает с КФ): слово – не кирпич, из которого строятся языковые "сооружения", оно "оказывается вторичным продуктом бесчисленных ассоциативных сопоставлений и речевых сшиваний языковых фрагментов, первично и непосредственно известных говорящему" (с. 206). То есть в результате рефлексии или даже бессознательно из КФ выделяются повторяющиеся части.

Как нам кажется, Б.М. Гаспаров все же переоценивает цитационность речи, а его подход к слову не подтверждается ни первичностью этой единицы в любой лингвистической традиции, ни упомянутыми выше исследованиями афазий. Больные "телеграфным стилем" в основном говорят словоформами, хотя в их памяти в готовом виде

могут храниться и более протяженные единицы, не обязательно фразеологизмы.

Подход к КФ типичен для методики Б.М. Гаспарова. С одной стороны, подчеркивается, что составление инвентаря КФ невозможно: нет четких границ между КФ и другими единицами. И действительно, множество воспроизводимых единиц различно у разных носителей одного языка и у одного человека в разное время. С другой стороны, он пытается выделить объективные свойства КФ, способы их соединения в речи и пр., то есть так или иначе выходит в область "позитивистской" лингвистики.

Мы не имеем возможности рассмотреть все множество вопросов в очень емкой по проблематике книге Б.М. Гаспарова. Подводя итог, отметим, что сделанное в ней напоминание о том, какие из вопросов лингвистики не поддаются или плохо поддаются решению на основе существующих теорий и методов, очень своевременно и важно. Задача предложить некоторую "другую лингвистику" для их разрешения также заслуживает внимания. Однако подход автора к уже существующей лингвистике представляется нам слишком максималистским, а "другая лингвистика" пока что лишь намечена в некоторых пунктах и не всегда убеждает.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аллатов В.М. 1983 – Предисловие // Языкознание в Японии. М., 1983.
Лурия А.Р. 1947 – Травматическая афазия. М., 1947.
Неверов С.В. 1982 – Общественно-языковая практика современной Японии. М., 1982.
Спицак Д.Л. 1986 – Лингвистика измененных состояний сознания. Л., 1986.

В.М. Аллатов